

По направлению к Свану

Автор:

[Марсель Пруст](#)

По направлению к Свану

Марсель Пруст

В поисках утраченного времени #1

Марсель Пруст – один из крупнейших французских писателей, родоначальник современной психологической прозы. Самое значимое свое произведение, цикл романов «В поисках утраченного времени», писатель создавал в течение четырнадцати лет. Каждый роман цикла – и звено в цепи всего повествования, и самостоятельное произведение. Все семь книг объединены образом рассказчика, пробуждающегося среди ночи и предающегося воспоминаниям о своей жизни. Настоящее и прошлое, созерцание и воспоминание оказываются вне времени и объединяются в единую картину, закладывая основу нового типа романа – романа «потока сознания».

Семитомную эпопею открывает книга «По направлению к Свану». Роман-исповедь и роман-воспоминание погружает читателя в мир Пруста, в котором прошлое и настоящее, сплетаясь между собой, открывают удивительное и бесконечное движение человека в глубину своей внутренней Вселенной.

Марсель Пруст

По направлению к Свану

Гастону Кальмету – в знак глубокой и сердечной благодарности.

Марсель Пруст

Часть первая

Комбре

I

Давно уже я привык укладываться рано. Иной раз, едва лишь гасла свеча, глаза мои закрывались так быстро, что я не успевал сказать себе: «Я засыпаю». А через полчаса просыпался от мысли, что пора спать; мне казалось, что книга все еще у меня в руках и мне нужно положить ее и потушить свет; во сне я продолжал думать о прочитанном, но мои думы принимали довольно странное направление: я воображал себя тем, о чем говорилось в книге, – церковью, квартетом, соперничеством Франциска I и Карла V. Это наваждение длилось несколько секунд после того, как я просыпался; оно не возмущало моего сознания – оно чешуей покрывало мне глаза и мешало им удостовериться, что свеча не горит. Затем оно становилось смутным, как воспоминание о прежней жизни после метемпсихоза; сюжет книги отделялся от меня, я волен был связать или не связать себя с ним; вслед за тем ко мне возвращалось зрение, и, к своему изумлению, я убеждался, что вокруг меня темнота, мягкая и успокоительная для глаз и, быть может, еще более успокоительная для ума, которому она представлялась, как нечто необъяснимое, непонятное, как нечто действительно темное. Я спрашивал себя, который теперь может быть час; я слышал свистки паровозов: они раздавались то издали, то вблизи, подобно пению птицы в лесу; по ним можно было определить расстояние, они вызывали в моем воображении простор пустынных полей, спешащего на станцию путника и тропинку, запечатлеющуюся в его памяти благодаря волнению, которое он испытывает и при виде незнакомых мест, и потому, что он действует сейчас необычно, потому что он все еще припоминает в ночной тишине недавний разговор, прощанье под чужой лампой и утешает себя мыслью о скором возвращении.

Я слегка прикасался щеками к ласковым щекам подушки, таким же свежим и пухлым, как щеки нашего детства. Я чиркал спичкой и смотрел на часы. Скоро полночь. Это тот самый миг, когда заболевшего путешественника, вынужденного лежать в незнакомой гостинице, будит приступ и он радуется полоске света под дверью. Какое счастье, уже утро! Сейчас встанут слуги, он позвонит, и они придут к нему на помощь. Надежда на облегчение дает ему

силы терпеть. И тут он слышит шаги. Шаги приближаются, потом удаляются. А полоска света под дверью исчезает. Это – полночь; потушили газ; ушел последний слуга – значит, придется мучиться всю ночь.

Я засыпал опять, но иногда пробуждался ровно на столько времени, чтобы успеть услышать характерное потрескивание панелей, открыть глаза и охватить взглядом калейдоскоп темноты, ощутить благодаря мгновенному проблеску сознания, как крепко спят вещи, комната – все то бесчувственное, чьею крохотной частицей я был и с чем мне предстояло соединиться вновь. Или же я без малейших усилий переносился, засыпая, в невозвратную пору моих ранних лет, и мной снова овладевали детские страхи; так, например, я боялся, что мой двоюродный дед оттаскает меня за волосы, хотя я перестал его бояться после того, как меня остригли, – этот день знаменовал наступление новой эры в моей жизни. Во сне я забывал об этом происшествии и опять вспоминал, как только мне удавалось проснуться, чтобы вырваться от деда, однако, прежде чем вернуться в мир сновидений, я из осторожности прятал голову под подушку.

Иной раз, пока я спал, из неудобного положения моей ноги, подобно Еве, возникшей из ребра Адама, возникала женщина. Ее создавало предвкушаемое мной наслаждение, а я воображал, что это она мне его доставляет. Мое тело, ощущавшее в ее теле мое собственное тепло, стремилось к сближению, и я просыпался. Другие люди, казалось мне, сейчас далеко-далеко, а от поцелуя этой женщины, с которой я только что расстался, щека моя все еще горела, а тело ломало от тяжести ее стана. Когда ее черты напоминали женщину, которую я знал наяву, я весь бывал охвачен стремлением увидеть ее еще раз – так собираются в дорогу люди, которым не терпится взглянуть своими глазами на вожделенный город: они воображают, будто в жизни можно насладиться очарованием мечты. Постепенно воспоминание рассеивалось, я забывал приснившуюся мне девушку.

Вокруг спящего человека протянута нить часов, чередой располагаются года и миры. Пробуждаясь, он инстинктивно сверяется с ними, мгновенно в них вычитывает, в каком месте земного шара он находится, сколько времени прошло до его пробуждения, однако ряды их могут смешаться, расстроиться. Если он внезапно уснет под утро, после бессонницы, читая книгу, в непривычной для него позе, то ему достаточно протянуть руку, чтобы остановить солнце и обратить его вспять; в первую минуту он не поймет, который час, ему покажется, будто он только что лег. Если же он задремлет в еще менее естественном, совсем уже необычном положении, например, сидя в кресле после

обеда, то сошедшие со своих орбит миры перемешаются окончательно, волшебное кресло с невероятной быстротой понесет его через время, через пространство, и как только он разомкнет веки, ему почудится, будто он лег несколько месяцев тому назад и в других краях. Но стоило мне заснуть в моей постели глубоким сном, во время которого для моего сознания наступал полный отдых, – и сознание теряло представление о плане комнаты, в которой я уснул: проснувшись ночью, я не мог понять, где я, в первую секунду я даже не мог сообразить, кто я такой; меня не покидало лишь первобытно простое ощущение того, что я существую, – подобное ощущение может биться и в груди у животного; я был беднее пещерного человека; но тут, словно помощь свыше, ко мне приходило воспоминание – пока еще не о том месте, где я находился, но о местах, где я жил прежде или мог бы жить, – и вытаскивало меня из небытия, из которого я не мог выбраться своими силами; в один миг я пробежал века цивилизации, и смутное понятие о керосиновых лампах, о рубашках с отложным воротничком постепенно восстанавливало особенности моего «я».

Быть может, неподвижность окружающих нас предметов внушена им нашей уверенностью, что это именно они, а не какие-нибудь другие предметы, неподвижностью того, что мы о них думаем. Всякий раз, когда я при таких обстоятельствах просыпался, мой разум тщетно пытался установить, где я, а вокруг меня все кружилось впотьмах: предметы, страны, годы. Мое одеревеневшее тело по характеру усталости стремилось определить свое положение, сделать отсюда вывод, куда идет стена, как расставлены предметы, и на основании этого представить себе жилище в целом и найти для него наименование. Память – память боков, колен, плеч – показывала ему комнату за комнатой, где ему приходилось спать, а в это время незримые стены, вертясь в темноте, передвигались в зависимости от того, какую форму имела воображаемая комната. И прежде чем сознание, остановившееся в нерешительности на пороге форм и времен, сопоставив обстоятельства, узнавало обиталище, тело припоминало, какая в том или ином помещении кровать, где двери, куда выходят окна, есть ли коридор, а заодно припоминало те мысли, с которыми я и заснул и проснулся. Так, мой онемевший бок, пытаюсь ориентироваться, воображал, что он вытянулся у стены в широкой кровати под балдахином, и тогда я себе говорил: «Ах, вот оно что! Я не дождался, когда мама придет со мной проститься, и уснул»; я был в деревне у дедушки, умершего много лет тому назад; мое тело, тот бок, что я отлежал, – верные хранители минувшего, которое моему сознанию не забыть вовек, – приводили мне на память свет сделанного из богемского стекла, в виде урны, ночника, подвешенного к потолку на цепочках, и камин из сиенского мрамора, стоявший в моей комбрейской спальне, в доме у дедушки и бабушки, где я жил в далеком

прошлом, которое я теперь принимал за настоящее, хотя пока еще не представлял его себе отчетливо, – оно вырисовывалось яснее, когда я просыпался уже окончательно.

Затем пробуждалось воспоминание о другом положении тела; стена тянулась в другом направлении, я был в своей комнате у г-жи де Сен-Лу, в деревне. Боже мой! Должно быть, одиннадцатый час; наверное, уже отужинали! По-видимому, я долго спал после обычной вечерней прогулки с г-жой де Сен-Лу – прогулки, которую я совершаю перед тем, как надеть фрак. Много лет назад, когда мы возвращались особенно поздно с прогулки в Комбре, я видел на стеклах моего окна рдяные отблески заката. В Тансонвиле, у г-жи де Сен-Лу, ведут совсем другой образ жизни, и совсем особенное наслаждение испытываю я оттого, что гуляю вечерами, при луне, по дорогам, на которых я когда-то резвился при свете солнца; – когда же мы возвращаемся, я издали вижу комнату, где я сначала усну, а потом переоденусь к ужину, – ее пронизывают лучи от лампы, от этого единственного маяка в ночной темноте.

Круговерть расплывчатых воспоминаний всякий раз продолжалась несколько секунд; нередко кратковременное мое недоумение по поводу того, где я нахожусь, различало предположения, из которых оно слагалось, не лучше, чем мы расчлняем в кинетоскопе движения бегущей лошади. И все-таки я видел то одну, то другую комнату, где мне случалось жить, и в конце концов, пока я, проснувшись, надолго предавался мечтам, вспоминал все до одной; вот зимние комнаты, где, улегшись в постель, зарываешься лицом в гнездышко – ты свил его из разнообразных предметов: из уголка подушки, из верха одеяла, из края шали, из края кровати, из газеты, а затем, скрепив все это по способу птиц, на неопределенное время в нем устраиваешься; зимние комнаты, где тебе особенно приятно чувствовать в стужу, что ты отгорожен от внешнего мира (так морская ласточка строит себе гнездо глубоко под землей, в земном тепле); где огонь в камине горит всю ночь, и ты спишь под широким плащом теплого и дымного воздуха, в котором мелькают огоньки вспыхивающих головешек, спишь в каком-то призрачном алькове, в теплой пещере, выкопанной внутри комнаты, в жаркой полосе с подвижными границами, овеваемой притоками воздуха, которые освежают нам лицо и которые исходят из углов комнаты, из той ее части, что ближе к окну и дальше от камина, и потому более холодной; вот комнаты летние, где приятно бывает слиться с теплой ночью; где лунный свет, пробившись через полуотворенные ставни, добрасывает свою волшебную лестницу до ножек кровати; где спишь словно на чистом воздухе, как спит синица, которую колышет ветерок на кончике солнечного луча; иногда это комната в стиле Людовика XVI, до того веселая, что даже в первый вечер я не

чувствовал себя там особенно несчастным, – комната, где тонкие колонны, без усилий поддерживавшие потолок, с таким изяществом расступались, чтобы, освободив место для кровати, не заслонять ее; иногда это была совсем на нее непохожая, маленькая, но с очень высоким потолком, частично обставленная красным деревом, выдолбленная в двухэтажной высоте пирамида, где я в первую же секунду бывал морально отравлен незнакомым запахом нарда и убеждался во враждебности фиолетовых занавесок и наглом равнодушии настенных часов, стрекотавших вовсю, как будто меня там не было; где всему здесь чуждое и беспощадное квадратное зеркало на ножках, наискось перегораживавшее один из углов комнаты, врезалось в умиротворяющую наполненность уже изученного мною пространства каким-то пустырем, всегда производившим впечатление неожиданности; где моя мысль, часами силившаяся рассредоточиться, протянуться в высоту, чтобы принять точную форму комнаты и доверху наполнить ее гигантскую воронку, терзалась в течение многих мучительных ночей, а я в это время лежал с открытыми глазами, с бьющимся сердцем, напрягая слух, стараясь не дышать носом до тех пор, пока привычка не изменяла цвет занавесок, не заставляла умолкнуть часы, не внушала сострадания косому жестокому зеркалу, не смягчала, а то и вовсе не изгоняла запах нарда и заметно не уменьшала бросающуюся в глаза высоту потолка. Привычка – искусная, но чересчур медлительная благоустраительница! Вначале она не обращает внимания на те муки, которые по целым неделям терпит наше сознание во временных обиталищах, и все же счастлив тот, кто ее приобрел, ибо без привычки, своими силами, мы ни одно помещение не могли бы сделать пригодным для жилья.

Теперь я уже проснулся окончательно, мое тело описало последний круг, и добрый ангел уверенности все остановил в моей комнате, натянул на меня одеяло и в темноте более или менее правильно водворил на место комод, письменный стол, камин, окно на улицу и две двери. Но хотя я теперь знал наверное, что обретаюсь не в тех помещениях, чей облик, пусть и недостаточно явственный, на миг воскрешало передо мной неопытное пробуждение, намекая на то, что я могу находиться и там, – памяти моей был дан толчок; обычно я не пытался тут же заснуть; почти всю ночь я вспоминал, как мы жили в Комбре, у моей двоюродной бабушки, в Бальбеке, в Париже, в Донсьере, в Венеции и в других городах, вспоминал местность, людей, которых я там знал, то, что я сам успевал за ними заметить и что мне про них говорили другие.

В Комбре, в сумерки, задолго до того момента, когда мне надо было ложиться, моя спальня, где я томился без сна, вдали от матери и от бабушки, превращалась для меня в тягостное средоточие тревог. Так как вид у меня по вечерам бывал очень несчастный, кто-то придумал для меня развлечение: перед ужином к моей лампе прикрепляли волшебный фонарь, и, подобно первым зодчим и художникам по стеклу готической эпохи, фонарь преображал непроницаемые стены в призрачные переливы света, в сверхъестественные разноцветные видения, в ожившие легенды, написанные на мигающем, изменчивом стекле. Но мне становилось от этого только грустнее, потому что даже перемена освещения разрушала мою привычку к комнате – привычку, благодаря которой, если не считать муки лежания в постели, мне было здесь сносно. Сейчас я не узнавал свою комнату и чувствовал себя неуютно, как в номере гостиницы или в «шале», куда бы я попал впервые прямо с поезда.

Поглощенный злым своим умыслом, Голо трусил на лошади; выехав из треугольной рощицы, темно-зеленым бархатом покрывавшей склон холма, он, трепеща, направлялся к замку несчастной Женевиевы Брабантской. Замок был криво обрезан – просто-напросто тут был край овального стекла, вставленного в рамку, которую вдвигали между чечевицами фонаря. То была лишь часть замка, перед нею раскинулся луг, а на лугу о чем-то мечтала Женевиева в платье с голубым поясом. И замок и луг были желтые, и я это знал еще до того, как мне показали их в фонаре, – я увидел ясно их цвет в отливавших золотом звуках слова «Брабант». Голо останавливался и печально выслушивал пояснение, которое громко читала моя двоюродная бабушка, – по-видимому, это было ему вполне понятно, ибо он, в строгом соответствии с текстом, принимал позу, не лишенную некоторой величественности; затем снова трусил. И никакая сила не могла бы остановить мелкой его рыси. Если фонарь сдвигали, я видел, как лошадь Голо едет по оконным занавескам, круглясь на складках и спускаясь в углубления. Тело самого Голо, из того же необыкновенного вещества, что и тело его коня, приспособлялось к каждому материальному препятствию, к каждому предмету, который преграждал ему путь: оно превращало его в свой остов и наполняло его собой; даже к дверной ручке мгновенно применялось и наплывало на нее красное его одеяние или же бледное его лицо, все такое же тонкое и грустное, но не обнаруживавшее ни малейших признаков смущения от этой своей бескостности.

Понятно, я находил прелесть в световых изображениях, которые, казалось, излучало меровингское прошлое, рассыпая вокруг меня блески глубокой старины. Но я не могу передать, как тревожило меня вторжение тайны и красоты в комнату, которую мне в конце концов удалось наполнить своим «я» до

такой степени, что я обращал на нее не больше внимания, чем на самого себя. Как только прекращалось обезболивающее действие привычки, ко мне возвращались грустные думы и грустные чувства. Дверная ручка в моей комнате, отличавшаяся для меня от всех прочих ручек тем, что она, казалось, поворачивалась сама, без всяких усилий с моей стороны, – до такой степени бессознательным сделалось для меня это движение, – теперь представляла собой астральное тело Голо. И как только звонил звонок к ужину, я бежал в столовую, где каждый вечер исправно светила большая висючая лампа, понятия не имевшая ни о Голо, ни о Синей Бороде, но зато знавшая моих родных и осведомленная о том, что такое тушеное мясо, и бросался в объятия мамы – несчастья Женевьевы Брабантской еще сильнее привязывали меня к ней, а злодеяния Голо заставляли с еще большим пристрастием допрашивать свою совесть.

После ужина я должен был – увы! – уходить от мамы, а мама беседовала с другими в саду, если погода была хорошая, или в маленькой гостиной, где все сходились в ненастную погоду. Все – за исключением бабушки, которая утверждала, что «в деревне жаль сидеть в душной комнате», и в особенно дождливые дни вела нескончаемые споры с моим отцом, который говорил мне, чтобы я шел читать к себе в комнату. «Так мальчик никогда не будет у вас крепким и энергичным, – с унылым видом говорила она, – а ему необходимо поправиться и воспитать в себе силу воли». Отец пожимал плечами и смотрел на барометр – он интересовался метеорологией, – а мать, не поднимая шума из боязни рассердить его, смотрела на него с умильной почтительностью, но не очень пристально, чтобы как-нибудь не проникнуть в тайну его превосходства. Зато бабушка в любую погоду, даже когда хлестал дождь и Франсуаза спешила унести драгоценные плетеные кресла, а то как бы не намокли, гуляла в пустом саду, под проливным дождем, откидывая свои седые космы и подставляя лоб живительности дождя и ветра. «Наконец-то можно дышать!» – говорила она и обегала мокрые дорожки, чересчур симметрично разделанные новым, лишенным чувства природы садовником, которого мой отец спрашивал утром, разгуляется ли погода, – обегала восторженной припрыжкой, управляемой самыми разными чувствами, какие вызывало в ее душе упоение грозой, могущество здорового образа жизни, нелепость моего воспитания и симметрия сада, а желание предохранить от грязи свою лиловую юбку, которую она ухитрялась так забрызгать, что горничная приходила в недоумение и в отчаяние от высоты брызг, было ей незнакомо.

Если бабушка делала по саду круги после ужина, то загнать ее в дом могло только одно: ее, словно мошку, тянуло к освещенным окнам маленькой гостиной,

где на ломберном столе стояли бутылки с крепкими напитками, и в тот момент, когда она, сделав очередной полный оборот, оказывалась под окнами, слышался голос моей двоюродной бабушки: «Батильда! Запрети же ты своему мужу пить коньяк!» В самом деле, чтобы подразнить бабушку (она резко отличалась от остальных членов семьи моего отца, и все над ней подшучивали и донимали ее), моя двоюродная бабушка подбивала дедушку, которому крепкие напитки были воспрещены, немножко выпить. Бедная бабушка, войдя в комнату, обращалась к мужу с мольбой не пить коньяку; он сердился, все-таки выпивал рюмочку, и бабушка уходила печальная, растерянная, но с улыбкой на лице, – она была до того кротка и добра, что любовь к ближним и способность забывать о себе и о причиненных ей обидах выражались у нее в улыбке, ирония которой – в противоположность улыбкам большинства людей – относилась лишь к ней самой, нам же она словно посылала поцелуй глазами: когда они были устремлены на тех, кто вызывал у нее нежные чувства, она непременно должна была приласкать их взглядом. Пытка, которой подвергала ее моя двоюродная бабушка, напрасные ее мольбы и ее слабохарактерность, обреченная терпеть поражение и тщетно пытавшаяся отнять у дедушки рюмку, – все это относилось к числу явлений, к которым так привыкаешь, что в конце концов наблюдаешь их со смехом, более того: довольно решительно и весело становишься на сторону преследователя, чтобы убедить самого себя, что тут, собственно, никакого преследования и нет; но тогда все это внушало мне столь сильное отвращение, что я бы с удовольствием побил мою двоюродную бабушку. И все же, когда я слышал: «Батильда! Запрети же ты своему мужу пить коньяк!» – я, уже по-мужски малодушный, поступал так, как все мы, взрослые, поступаем при виде несправедливостей и обид: я от них отворачивался; я шел поплакать наверх, под самую крышу, в комнатку рядом с классной, где пахло ирисом и куда вливалось благоуханье дикой черной смородины, росшей среди камней ограды и протягивавшей цветущую ветку в растворенное окно. Имевшая особое, более прозаическое назначение, эта комната, откуда днем была издали видна даже башня замка Русенвиль-ле-Пен, долгое время служила мне, – разумеется, оттого, что только там я имел право запирается на ключ, – убежищем, где я мог предаваться тому, что требует ненарушимого уединения: где я мог читать, мечтать, блаженствовать и плакать.

Увы! Я не знал, что бабушку гораздо сильнее, чем незначительные нарушения режима, допускаясь ее мужем, огорчали мое безволие и слабое здоровье, внушавшие ей тревогу за мое будущее, когда она, склонив голову набок и глядя вверх, и днем и вечером без конца кружила по саду и ее красивое лицо, ее морщинистые, коричневые щеки, к старости ставшие почти лиловыми, словно пашни осенью, на воздухе прятывшиеся под приподнятой вуалью, с

набежавшими на них от холода или от грустных мыслей, непрошеными, тут же и высохавшими слезами, то исчезали, то появлялись.

Идя спать, я утешался мыслью, что, после того как я лягу, мама придет меня поцеловать. Но она приходила со мной попрощаться так ненадолго и так скоро уходила, что в моей душе больно отзывались сначала ее шаги на лестнице, а потом легкий шелест ее летнего голубого муслинового, отделанного соломкой платья, проплывавший за двумя дверями по коридору. Шелест и шаги возвещали, что я их услышу вновь, когда она от меня уйдет, когда она будет спускаться по лестнице. Я уже предпочитал, чтобы это наше прощанье, которое я так любил, произошло как можно позже, чтобы мама подольше не приходила. Иной раз, когда она, поцеловав меня, уже отворяла дверь, мне хотелось позвать ее и сказать: «Поцелуй меня еще», – но я знал, что она рассердится, оттого что уступка, которую она делала моей грусти и моему возбуждению, приходя поцеловать меня, даря мне успокоительный поцелуй, раздражала отца, считавшего, что этот ритуал нелеп, и она стремилась к тому, чтобы я отказался от этой потребности, от этой привычки, и, уж во всяком случае, не намерена была поощрять другую привычку – просить, чтобы она еще раз меня поцеловала в тот момент, когда она уже собиралась шагнуть за порог. Словом, сердитый ее вид нарушал то умиротворение, которым от нее веяло на меня за секунду перед тем, как она с любовью склонялась над моей кроватью и, словно протягивая мне святые дары покоя, тянулась ко мне лицом, чтобы я, причастившись, ощутил ее присутствие и почерпнул силы для сна. И все же те вечера, когда мама заходила ко мне на минутку, были счастливыми в сравнении с теми, когда к ужину ждали гостей и она ко мне не поднималась. Обычно в гостях у нас бывал только Сван; если не считать случайных посетителей, он был почти единственным нашим гостем в Комбре, иногда приходившим по-соседски к ужину (что случалось реже после его неудачной женитьбы, так как мои родные не принимали его жену), а иногда и после ужина, невзначай. Когда мы сидели вечером около дома под высоким каштаном вокруг железного стола и до нас долетал с того конца сада негромкий и визгливый звон бубенчика, своим немолчным, неживым дребезжанием обдававший и оглушавший домочадцев, приводивших его в движение, входя «без звонка», но двукратное, робкое, округленное, золотистое звяканье колокольчика для чужих, все задавали себе вопрос: «Гости! Кто бы это мог быть?» – хотя ни для кого не представляло загадки, что это может быть только Сван; моя двоюродная бабушка, желая подать нам пример, громко говорила возможно более непринужденным тоном, чтобы мы перестали шептаться, потому что это в высшей степени невежливо по отношению к гостю, который может подумать, что мы шепчемся о нем, а на разведку посылалась бабушка, радовавшаяся предлогу лишний раз пройтись по саду и

пользовавшаяся им, чтобы по дороге, для придания розовым кустам большей естественности, незаметно вынуть из-под них подпорки, – так мать взбивает сыну волосы, которые прилизал парикмахер.

Мы ломали себе голову в ожидании известий о неприятеле, которые должна была доставить бабушка, точно напасть на нас могли целые полчища, но немного погодя дедушка говорил: «Я узнаю голос Свана». Свана действительно узнавали только по голосу; его нос с горбинкой, зеленые глаза, высокий лоб, светлые, почти рыжие волосы, причесанные под Брессана, – все это было трудно разглядеть, так как мы, чтобы не привлекать мошкар, сидели при скудном свете, и тут я, уже не раздумывая, шел сказать, чтобы подавали сиропы: бабушка боялась, как бы не создалось впечатления, что сиропы у нас приносятся в исключительных случаях, только ради гостей, – ей казалось, что будет гораздо приличнее, если гость увидит сиропы на столе. Сван, несмотря на большую разницу лет, был очень дружен с дедушкой – одним из самых близких приятелей его отца, человека прекрасного, по со странностями: любой пустяк мог иногда остановить сердечный его порыв, прервать течение его мыслей. Несколько раз в год дедушка рассказывал при мне за столом одно и то же – как Сван-отец, не отходивший от своей умирающей жены ни днем ни ночью, вел себя, когда она скончалась. Дедушка давно его не видел, но тут поспешил в имение Сванов, расположенное близ Комбре, и ему удалось выманить обливавшегося слезами приятеля на то время, пока умершую будут класть в гроб, из комнаты, где поселилась смерть. Они прошли по парку, скупо освещенному солнцем. Внезапно Сван, схватив дедушку за руку, воскликнул: «Ах, мой старый друг! Как хорошо прогуляться вдвоем в такой чудесный день! Неужели вы не видите, какая это красота – деревья, боярышник, пруд, который я выкопал и на который вы даже не обратили внимания? Вы – желчевик, вот вы кто. Чувствуете, какой приятный ветерок? Ах, что там ни говори, в жизни все-таки много хорошего, мой милый Амедей!» Но тут он вспомнил, что у него умерла жена, и, очевидно решив не углубляться в то, как мог он в такую минуту радоваться, ограничился жестом, к которому он прибегал всякий раз, когда перед ним вставал сложный вопрос: провел рукой по лбу, вытер глаза и протер пенсне. Он пережил жену на два года, все это время был безутешен и тем не менее признавался дедушке: «Как странно! О моей бедной жене я думаю часто, но не могу думать о ней долго». «Часто, но недолго, – как бедный старик Сван», – это стало одним из любимых выражений дедушки, которое он употреблял по самым разным поводам. Я склонен был думать, что старик Сван – чудовище, но дедушка, которого я считал самым справедливым судьей на свете и чей приговор был для меня законом, на основании коего я впоследствии прощал предосудительные в моих глазах поступки, мне возражал: «Да что ты! У него же было золотое сердце!»

На протяжении многих лет сын покойного Свана часто бывал в Комбре, особенно до женитьбы, а мои родные знать не знали, что он порвал с кругом знакомых своей семьи и что они с отменным простодушием ничего не подозревающих хозяев постоянного двора, пустивших к себе знаменитого разбойника, оказывают гостеприимство человеку, фамилия которого представляла для нас своего рода инкогнито, ибо Сван являлся одним из самых элегантных членов Джокей-клуба, близким другом графа Парижского и принца Уэльского, желанным гостем Сен-Жерменского предместья.

Неведение, в котором мы пребывали относительно блестящей светской жизни Свана, конечно, отчасти объяснялось его сдержанностью и скрытностью, но еще и тем, что тогдашние обыватели рисовали себе общество на индусский образец: им казалось, что оно делится на замкнутые касты, что каждый член этого общества с самого рождения занимает в нем то же место, какое занимали его родители, и что с этого места ничто, кроме редких случаев головокружительной карьеры или неожиданного брака, не в состоянии перевести вас в высшую касту. Сван-отец был биржевым маклером; его отпрыску суждено было до самой смерти принадлежать к той касте, где сумма дохода, как в окладном листе, колебалась между такой-то и такой-то цифрой. Были известны знакомства его отца; следовательно, были известны и его знакомства; известно, с кем ему «подобало» водиться. Если у него и бывали иного рода связи, то на эти отношения молодого человека старые друзья его семьи, как, например, моя родня, тем охотнее смотрели сквозь пальцы, что, осиротев, он продолжал бывать у нас постоянно; впрочем, смело можно было побиться об заклад, что этим неизвестным нам лицам он не решился бы поклониться в нашем присутствии. Если бы понадобилось сравнить удельный вес Свана с удельным весом других сыновей биржевых маклеров того же калибра, как его отец, то вес этот оказался бы у него чуть-чуть ниже, потому что он был человек очень неприхотливый, был «помешан» на старинных вещах и на картинах и жил теперь в старом доме, который он завалил своими коллекциями и куда моя бабушка мечтала попасть, но особняк находился на Орлеанской набережной, а моя двоюродная бабушка полагала, что жить там неприлично. «Вы в самом деле знаток? – спрашивала она Свана. – Я задаю этот вопрос в ваших же интересах, – уж, верно, торговцы всучивают вам всякую мазню». Она действительно была убеждена, что Сван ничего в этом не смыслит, более того: она вообще была невысокого мнения об его уме, потому что в разговорах он избегал серьезных тем, зато проявлял осведомленность в делах весьма прозаических, причем не только когда, входя в мельчайшие подробности, снабжал нас кулинарными рецептами, но и когда сестры моей бабушки говорили с ним об искусстве. Если

они приставали к нему, чтобы он высказался, чтобы он выразил свое восхищение какой-нибудь картиной, он упорно отмалчивался, так что это уже становилось почти неприличным, и отделялся от них тем, что давал точные сведения, в каком музее она находится и когда написана. Но обычно он ограничивался тем, что, желая нас позабавить, рассказывал каждый раз новую историю, которая у него вышла с кем-либо из тех, кого мы знали: с комбрейским аптекарем, с нашей кухаркой, с нашим кучером. Разумеется, его рассказы смешили мою двоюродную бабушку, но она не могла понять чем: смешной ролью, которую неизменно играл в них Сван, или же остроумием рассказчика: «Ну и чудак же вы, Сван!» Так как она – единственный член нашей семьи – была довольно вульгарна, то, когда заходила речь о Сване при посторонних, она старалась вернуть, что, если б он захотел, он мог бы жить на бульваре Османа или же на улице Оперы, что отец оставил ему миллиона четыре, а то и пять, но что он напустил на себя блажь. Впрочем, эта блажь представлялась ей занятной, и когда Сван приносил ей в Париже на Новый год коробку каштанов в сахаре, то, если у нее в это время кто-нибудь был, она не упускала случая задать Свану вопрос: «Что же, господин Сван, вы все еще живете у винных складов – боитесь опоздать на поезд, когда вам надо ехать по Лионской дороге?» И тут она искоса, поверх пенсне, поглядывала на гостей.

Но если бы ей сказали, что Сван, который в качестве сына покойного Свана «причислен к разряду» тех, кого принимает у себя цвет «третьего сословия», почтеннейшие парижские нотариусы и адвокаты (между тем этой своей привилегией Сван, по-видимому, пренебрегал), живет двойной жизнью; что, выйдя от нас в Париже, он, вместо того чтобы идти домой спать, о чем он нас уведомлял перед уходом, поворачивал за углом обратно и шел в такую гостиную, куда ни одного маклера и ни одного помощника маклера на порог не пускали, моей двоюродной бабушке показалось бы это столь же неправдоподобно, как более начитанной даме показалась бы неправдоподобной мысль, что она знакома с Аристеем и что после бесед с ней он погружается в Фетидино подводное царство, в область, недоступную взорам смертных, где, как о том повествует Вергилий, его принимают с распростертыми объятиями; или – если воспользоваться для сравнения образом, который скорей мог прийти в голову моей двоюродной бабушке, потому что он смотрел на нее в Комбре с маленьких тарелочек, – столь же неправдоподобно, как мысль, что ей предстоит обедать с Али-Бабой, который, убедившись, что он один, проникнет в пещеру, где блещут несметные сокровища.

Однажды Сван где-то обедал в Париже и, придя оттуда к нам, извинился, что он во фраке, а когда он ушел, Франсуаза со слов его кучера сообщила, что обедал

он «у принцессы». «У принцессы полусвета!» – пожимая плечами и не поднимая глаз от вязанья, с хладнокровной насмешкой в голосе подхватила моя двоюродная бабушка.

Словом, она смотрела на него свысока. Она считала, что знакомство с нами должно быть для него лестно, а потому находила вполне естественным, что летом он никогда не появлялся у нас без корзинки персиков или малины из своего сада и каждый раз привозил мне из Италии снимки великих произведений искусства.

Мои родные без всякого стеснения посылали за ним, когда нам нужен был рецепт изысканного соуса или же компота из ананасов для званных обедов, на которые его не приглашали, потому что он не пользовался настолько широкой известностью, чтобы им можно было козырнуть в обществе людей, которые сегодня первый раз в нашем доме. Если речь заходила об особах французского королевского дома, моя двоюродная бабушка, обращаясь к Свану, в кармане у которого, быть может, лежало письмо из Твикенгема, говорила: «С этими людьми ни у вас, ни у меня никогда не будет ничего общего, – уж как-нибудь мы и без них обойдемся, верно?»; в те вечера, когда сестра моей бабушки пела, она заставляла его аккомпанировать ей и переворачивать ноты – она проявляла по отношению к этому человеку, с которым столько искали знакомства, простодушную грубость ребенка, обращающегося с какой-нибудь редкой вещью так небрежно, как будто ей грош цена. Свана уже в то время знали многие завсегдатаи клубов, а моя двоюродная бабушка, конечно, рисовала его себе совершенно иным, пропитывая и оживляя всем, что ей было известно о семье Сванов, возникавшую на фоне вечернего мрака в комбрейском садике после того, как дважды нерешительно звонил колокольчик, темную и неопределенную фигуру человека, которого вела бабушка и которого мы узнавали по голосу. Но ведь даже если подойти к нам с точки зрения житейских мелочей, и то мы не представляем собой чего-то внешне цельного, неизменного, с чем каждый волен познакомиться как с торговым договором или с завещанием; наружный облик человека есть порождение наших мыслей о нем. Даже такой простой акт, как «увидеть знакомого», есть в известной мере акт интеллектуальный. Мы дополняем его обличье теми представлениями, какие у нас уже сложились, и в том общем его очерке, какой мы набрасываем, представления эти играют, несомненно, важнейшую роль.

В конце концов они приучаются так ловко надувать щеки, с такой послушной точностью следовать за линией носа, до того искусно вливаться во все оттенки

звуков голоса, как будто наш знакомый есть лишь прозрачная оболочка, и всякий раз, как мы видим его лицо и слышим его голос, мы обнаруживаем, мы улавливаем наши о нем представления. Разумеется, мои родные по неведению не наделили того Свана, которого они себе создали, множеством свойств, выработанных в нем его светской жизнью и способствовавших тому, что другие люди смотрели на его лицо как на царство изящества, естественной границей которого являлся нос с горбинкой; зато мои родные могли вливать в его лицо, лишенное своих чар, ничем не заполненное и емкое, в глубину утративших обаяние глаз смутный и сладкий осадок, – полуоживший, полузабытый, – остававшийся от часов досуга, еженедельно проводившихся вместе с ним после ужина, в саду или за ломберным столом, в пору нашего деревенского добрососедства. Телесная оболочка нашего друга была до такой степени всем этим пропитана, равно как и воспоминаниями о его родителях, что этот Сван стал существом законченным и живым, и у меня создается впечатление, будто я расстаюсь с одним человеком и ухожу к другому, непохожему на него, когда, напрягая память, перехожу от того Свана, которого впоследствии хорошо знал, к первому Свану, – в нем я вновь узнаю пленительные заблуждения моей юности, да и похож он, кстати сказать, не столько на второго Свана, сколько на других людей, с которыми я тогда был знаком: можно подумать, что наша жизнь – музей, где все портреты одной эпохи имеют фамильное сходство, общий тон, – к первому Свану, веявшему досужеством, пахнувшему высоким каштаном, малиной и – немножко – дракон-травой.

Впрочем, однажды, когда бабушка о чем-то попросила маркизу де Вильпаризи, из знатного рода Буйон, с которой она познакомилась в Сакре-Кер (и с которой она в соответствии с нашим представлением о кастах, несмотря на взаимную симпатию, не захотела поддерживать отношения), маркиза сказала ей: «Если не ошибаюсь, вы хороши со Сваном, близким другом моих племянников по фамилии де Лом». Бабушка вернулась в восторге от дома окнами в сад, – маркиза де Вильпаризи советовала ей нанять здесь квартиру, – а также от жилетника и его дочери, у которых было заведение во дворе и куда она, разорвав на лестнице юбку, зашла попросить заштопать ее. Бабушке эти люди показались верхом совершенства; она объявила, что малышка – настоящее сокровище, а что таких воспитанных, таких милых людей, как жилетник, она еще не встречала. Дело в том, что воспитанность, по ее мнению, нисколько не зависела от социального положения. Она восхищалась одним ответом жилетника и говорила маме: «Так бы и Севинье не сказать!» Зато о племяннике маркизы де Вильпаризи, которого она у нее видела, бабушка отозвалась так: «Ах, доченька, до чего же он зауряден!»

Слова маркизы де Вильпаризи о Сване не подняли его в глазах моей двоюродной бабушки, а маркизу де Вильпаризи унизили. Казалось, то уважение, которое мы, полагаясь на бабушку, питали к маркизе де Вильпаризи, обязывало ее не ронять своего достоинства в наших глазах, однако она его уронила, так как знала о существовании Свана и разрешала своим родственникам с ним водиться. «Как! Она знает Свана? А ты еще уверяешь, что она в родстве с маршалом Магоном!» Мнение моих родных о знакомствах Свана укрепила, как они считали, его женитьба на женщине из дурного общества, почти кокотке, которую он, впрочем, и не пытался представить нам, продолжая бывать у нас один, хотя все реже и реже, но которая будто бы давала им возможность судить о неведомой им среде, а ведь они предполагали, что взял он ее оттуда, где он постоянно вращался.

Но вот однажды дедушка вычитал в газете, что Сван – постоянный посетитель воскресных завтраков у герцога Икс, отец и дядя которого при Луи-Филиппе занимали самые высокие посты. Надо заметить, что дедушка проявлял особое любопытство ко всякого рода мелким фактам, которые помогали ему мысленно проникать в частную жизнь таких людей, как Моле, как герцог Пакье, как герцог де Брой. Он был счастлив, что Сван встречается с людьми, которые их знали. А двоюродная бабушка истолковала эту новость в неблагоприятном для Свана смысле: человек, выбирающий себе знакомых вне своей касты, к которой он принадлежит по рождению, вне своего общественного «класса», переживает, с ее точки зрения, пагубный процесс деклассирования. Ей казалось, что такой человек отказывается от выгоды, заключающейся в хороших отношениях со всеми солидными людьми, а ведь кто попредусмотрительней, те, помня о своих детях, почитают за честь поддерживать такие отношения и дорожат ими. (Моя двоюродная бабушка даже отказала от дома сыну нашего друга нотариуса, потому что он женился на «сиятельной» и таким образом унизился в ее глазах до того, что променял почетное положение сына нотариуса на положение одного из тех проходимцев, лакеев и конюших, которым, по слухам, королевы в старину оказывали благосклонность.) Она восстала против намерения моего дедушки в ближайший же вечер, когда Сван придет к нам ужинать, расспросить его, что это за друзья, которых он завел без нашего ведома. Две сестры моей бабушки, старые девы, блиставшие душевными своими качествами, но не умом, со своей стороны выразили недоумение, что за удовольствие находит их зять в разговорах о таких пустяках. Обе они были с понятиями возвышенными и потому терпеть не могли перебивать, как говорится, косточки, их не интересовали даже исторические анекдоты; вообще у них не вызывало интереса все, что не имеет прямого отношения к прекрасному и высокому. Им было так глубоко безразлично все, что по видимости имело прямое или косвенное касательство к

светской жизни, что их слуховые органы, – придя в конце концов к убеждению, что когда разговор за столом принимает легкомысленный или хотя бы даже низкий оттенок и обе старые девы не в состоянии обратить его к предметам для них дорогим, то они им просто не нужны, – переставали на это время воспринимать звуки, и, в сущности, это было началом их атрофии. Если дедушке необходимо было привлечь внимание двух сестер, он прибегал к сигналам, которыми пользуются психиатры, имеющие дело с патологически рассеянными субъектами: к постукиванию ножом по стакану, сопровождаемому грозным окриком и грозным взглядом, к тем жестоким средствам, какие психиатры часто применяют и в общении с людьми здоровыми – то ли по профессиональной привычке, то ли потому, что они всех считают слегка сумасшедшими.

Накануне того дня, когда Сван, собираясь прийти к нам ужинать, прислал сестрам ящик асти, они проявили к Свану более живой интерес, потому что моя двоюродная бабушка, держа в руках номер «Фигаро», где рядом с названием картины Коро, висевшей на выставке, было напечатано: «Из собрания г-на Шарля Свана», спросила: «Вы обратили внимание, что «Фигаро» «почтил» Свана?» – «Я всегда говорила, что у него хороший вкус», – вставила бабушка. «Ну, конечно, разве ты хоть в чем-нибудь бываешь с нами согласна?» – заметила моя двоюродная бабушка; зная, что бабушка никогда с нею не соглашается, а мы не всегда становимся на ее сторону, она сделала попытку вырвать у нас огульное осуждение мнения бабушки, – ей хотелось заставить нас примкнуть к ней. Но мы хранили молчание. Бабушкины сестры изъявили желание поговорить со Сваном по поводу заметки в «Фигаро», но моя двоюродная бабушка им это отсоветовала. Всякий раз, как она убеждалась в чьем-либо превосходстве над собой, хотя бы самом незначительном, она приучала себя к мысли, что это не превосходство, а порок, и, чтобы не завидовать этому человеку, жалела его. «По-моему, вы ему этим удовольствия не доставите; мне, по крайней мере, было бы очень неприятно увидеть, что моя фамилия полностью напечатана в газете, – я ничуть не была бы польщена, если б со мной об этом заговорили». Впрочем, ей не пришлось долго уламывать бабушкиных сестер: из отвращения к пошлости они так изощрились в искусстве скрывать личности под хитроумными иносказаниями, что человек часто не замечал намека. А моя мать думала только о том, как бы убедить отца поговорить со Сваном, но не о жене его, а о дочери, которую Сван боготворил и ради которой он, по слухам, в конце концов решился на брак: «Скажи ему два слова, спроси, как она поживает, нельзя же быть такими жестокими!» Отец сердился: «Ну уж нет! Что у тебя за вздор на уме! Это было бы просто глупо».

Единственно, кто у нас ждал Свана с мучительной тревогой, это я. Дело в том, что, когда у нас вечером бывали гости или хотя бы только Сван, мама не поднималась ко мне в комнату. Я ужинал раньше всех, затем приходил посидеть с гостями, а в восемь часов мне надо было подниматься к себе; я вынужден был уносить с собой из столовой в спальню тот драгоценный, хрупкий поцелуй, который мама имела обыкновение дарить мне, когда я лежал в постели, перед тем как мне заснуть, и, пока я раздевался, беречь его, чтобы не разбилась его нежность, чтобы не рассеялась и не испарилась его летучесть; но как раз в те вечера, когда я ощущал необходимость особенно осторожного с ним обращения, я должен был второпях, впопыхах, на виду у всех похищать его, не имея даже времени и внутренней свободы, чтобы привести в свои действия сосредоточенность маньяков, которые, затворяя дверь, стараются ни о чем другом не думать, с тем чтобы, как скоро ими вновь овладеет болезненная неуверенность, победоносно противопоставить ей воспоминание о том, как они затворяли дверь.

Мы все были в саду, когда дважды нерешительно звякнул колокольчик. Мы знали, что это Сван; и все же мы вопросительно переглянулись и послали бабушку на разведку. «Не забудьте членораздельно поблагодарить его за вино, – посоветовал дедушка своим свояченицам. – Вино, как вам известно, дивное, ящик он прислал громадный». – «Только не шептаться! – сказала моя двоюродная бабушка. – В доме, где все шушукаются, не очень-то приятно бывать». – «А, Сван! Сейчас мы у него спросим, какая завтра будет погода», – сказал отец. Мать решила, что одного ее слова будет достаточно, чтобы загладить все обиды, которые наша семья причинила Свану после его женитьбы. Она нашла предлог отвести его в сторону. А я пошел за ней; я не мог отпустить ее ни на шаг, потому что вот-вот должен был с ней расстаться и, выйдя из столовой, идти к себе наверх, не утешаясь мыслью, как в другие вечера, что она придет поцеловать меня. «Расскажите о вашей девочке, Сван, – заговорила мать. – Наверно, она уже любит красивые вещи, как ее папа». – «Пойдем посидим на веранде», – подойдя к нам, сказал дедушка. Матери ничего не оставалось, как прекратить разговор, но эта помеха навела ее на более счастливую мысль – так тирания рифмы заставляет хороших поэтов достигать совершенства. «Мы поговорим о ней наедине, – тихо сказала она Свану. – Только мать способна понять вас. Я убеждена, что ее мама того же мнения». Мы сели вокруг железного стола. Я старался не думать о тоскливых часах, которые мне предстояло провести в одиночестве, без сна, у себя в комнате; я уговаривал себя, что из-за этого не стоит огорчаться, потому что завтра утром я о них забуду, – я пытался сосредоточиться на мыслях о будущем, которые должны были провести меня, точно по мосту, над близкой и страшной пропастью. Однако

мое перегруженное беспокойством сознание, такое же напряженное, как взгляды, которые я бросал на мать, было недоступно для внешних впечатлений. Мысли в него проникали, но так, что все прекрасное или даже смешное, способное растрогать меня или развлечь, оставалось снаружи. Как больной, отчетливо сознавая, что ему делают операцию, благодаря обезболивающему средству ничего при этом не чувствует, так я, не испытывая ни малейшего волнения, мог декламировать любимые стихи или без тени улыбки наблюдать за тем, как дедушка пытается заговорить со Сваном о герцоге д'Одифре-Пакье. Попытки деда не имели успеха. Стоило ему задать Свану вопрос об этом ораторе – и одна из бабушкиных сестер, чей слух воспринимал вопрос дедушки как глубокое, но неуместное молчание, нарушить которое требовала вежливость, обратилась к другой: «Ты знаешь, Флора, я познакомилась с молодой учительницей-шведкой, и она сообщила мне чрезвычайно интересные подробности о кооперативах в Скандинавских государствах. Надо будет пригласить ее к нам поужинать». – «Ну, конечно! – ответила Флора. – Я тоже даром время не теряла. Я встретила у Вентейля с одним широкообразованным стариком, который хорошо знает Мобана, и Мобан подробнейшим образом ему рассказал, как он работает над ролью. Чрезвычайно интересно! Оказывается, этот старик – сосед Вентейля, а я и не знала. Он очень любезен». – «Не у одного Вентейля любезные соседи!» – воскликнула ее сестра Селина голосом, громким от застенчивости и неестественным от преднамеренности, и при этом бросила на Свана взгляд, который она называла «многозначительным». Догадавшись, что Селина изъявила таким образом благодарность за асти, Флора тоже устремила на Свана взгляд, выражавший не только признательность, но и насмешку, то ли просто-напросто подчеркивавшую находчивость Селины, то ли показывавшую, что она завидует Свану, так как это он вдохновил ее сестру, а быть может, она просто не могла не поиронизировать над ним, так как была уверена, что он чувствует себя сейчас в положении подсудимого. «Я думаю, этот господин не откажется к нам прийти, – продолжала Флора. – О Мобане или о Матерна он способен говорить часами – стоит только завести о них разговор». – «Это должно быть очень любопытно», – со вздохом проговорил дедушка, чей ум природа, к несчастью, совершенно лишила способности проявлять живой интерес и к шведским кооперативам, и к работе Мобана над ролью, подобно тому как она забыла наделить ум сестер моей бабушки хотя бы крупницей соли, без которой даже рассказ об интимной жизни Моле или графа Парижского покажется пресным. «Знаете, – обратился к дедушке Сван, – то, что я вам сейчас скажу, имеет больше отношения к вашему вопросу, чем это может показаться на первый взгляд, потому что если взглянуть на жизнь под определенным углом зрения, то нельзя не прийти к выводу, что она не так уж изменилась. Утром я перечитывал Сен-Симона и нашел одно небезлюбопытное для вас место. Это в

том томе, где Сен-Симон рассказывает, как он был послан в Испании; это не из лучших его томов, – перед вами просто дневник, но дневник, чудесно написанный, и уже в этом одном его громадное преимущество перед скучнейшими газетами, которые мы считаем себя обязанными читать утром и вечером». – «Я с вами не согласна; иногда читать газеты – большое удовольствие...» – перебила его бабушка Флора, намекая на заметку в «Фигаро» о принадлежащей Свану картине Коро. «Это когда газеты сообщают о событиях или людях, которые нас интересуют!» – подхватила бабушка Селина. «Да я против этого не спорю, – с удивлением заметил Сван. – Я ставлю в вину газетам то, что они изо дня в день обращают наше внимание на разные мелочи, а книги, в которых говорится о важных вещах, мы читаем каких-нибудь три-четыре раза в жизни. Уж если мы с таким нетерпением разрываем каждое утро бандероль, в которую вложена газета, значит, нужно изменить положение вещей и печатать в газете... ну, скажем... «Мысли» Паскаля! (Чтобы не прослыть педантом, Сван произнес слово «мысли» высокопарно-иронически.) И наоборот: в томе с золотым обрезом, который мы раскрываем не чаще, чем раз в десять лет, – добавил он с тем пренебрежением к высшему свету, какое напускают на себя иные светские люди, – нам бы следовало читать о том, что королева эллинов отбыла в Канн, а что принцесса Леонская устроила костюмированный бал. Таким образом равновесие было бы восстановлено».

Но Сван тут же пожалел, что хоть и вскользь, а заговорил о серьезных предметах. «У нас сегодня завязался умный разговор. Не понимаю, почему, собственно, мы заговорили о «высоких материях», – насмешливо заметил он и обратился к дедушке: – Так вот, Сен-Симон рассказывает, как Молеврье отважился протянуть руку его сыновьям. Об этом самом Молеврье у герцога сказано: «В этой пузатой бутылке я никогда ничего не видел, кроме раздражения, грубости и вздора». – «Пузатые или не пузатые – это другое дело, но я знаю бутылки, в которых налито нечто иное», – живо отозвалась Флора, считавшая своей обязанностью тоже поблагодарить Свана, потому что он подарил асти обеим сестрам. Селина засмеялась. Сван был озадачен. «Не знаю, что это было, – пишет Сен-Симон, – оплошность или подвох, – продолжал он, – но только Молеврье вознамерился протянуть руку моим детям. Я вовремя это заметил и предотвратил». Дедушку привело в восторг выражение: «оплошность или подвох», но у мадмуазель Селины фамилия Сен-Симона – писателя! – предотвратила полную потерю слуха, и она пришла в негодование: «Что с вами? Как вы можете этим восхищаться? И что, собственно, это значит? Чем один человек хуже другого? Если у человека есть ум и сердце, то не все ли равно – герцог он или конюх? Прекрасная система воспитания была у вашего Сен-Симона, коль скоро он воспрещал детям пожимать руку честным людям! Это

просто отвратительно! Зачем вы это цитируете?» Тут дедушка, поняв, что при такой обструкции Сван не станет рассказывать занятные истории, с досадой сказал вполголоса маме: «Напомни-ка твой любимый стих, – мне от него становится легче жить на свете. Ах да! «Ко многим доблестям бог ненависть внушил». Как это хорошо сказано!»

Я не спускал глаз с мамы – я знал, что мне не позволят досидеть до конца ужина и что, не желая доставлять неудовольствие отцу, мама не разрешит мне поцеловать ее несколько раз подряд, как бы я целовал ее у себя. Вот почему я решил, – прежде чем в столовой подадут ужин и миг расставания приблизится, – заранее извлечь из этого мгновенного летучего поцелуя все, что в моих силах: выбрать место на щеке, к которому я прильну губами, мысленно подготовиться, вызвать в воображении начало поцелуя, с тем чтоб уж потом, когда мама уделит мне минутку, всецело отдаться ощущению того, как мои губы касаются ее щеки, – так художник, связанный кратковременностью сеансов, заранее готовит палитру и по памяти, пользуясь своими эскизами, делает все, для чего присутствие природы не обязательно. Но еще до звонка к ужину дедушка совершил неумышленную жестокость. «У малыша усталый вид, – сказал он, – пора ему спать. Сегодня мы запоздали с ужином». Отец обычно не так строго следил за соблюдением устава, как бабушка и мать, но тут и он сказал: «Да, иди-ка спать». Я только хотел было поцеловать маму, как позвонили к ужину. «Нет уж, оставь маму в покое, довольно этих телячьих нежностей, пожелайте друг другу спокойной ночи, и все. Иди, иди!» И пришлось мне уйти без причастия; пришлось подниматься со ступеньки на ступеньку, как говорится, «скрепя сердце», потому что сердцу хотелось вернуться к маме, не поцеловавшей меня и, следовательно, не давшей сердцу разрешения уйти вместе со мной. Эта ненавистная мне лестница, по которой я всегда так уныло взбирался, пахла лаком, и ее запах до известной степени пропитывал и упрочивал ту особенную грусть, которую я испытывал ежевечерне, – он делал ее, пожалуй, даже еще более тягостной для моей восприимчивой природы, потому что мой разум не в силах был с нею бороться, поскольку она действовала на обоняние. Когда мы еще спим и воспринимаем зубную боль в виде молодой девушки, которую мы сотни раз подряд силится вытащить из воды, или в виде мольеровского стиха, который мы твердим без устали, то какое великое облегчение наступает для нас, когда мы просыпаемся и даем возможность нашему рассудку совлечь с мысли о зубной боли героический или же ритмизованный наряд! Я ощущал нечто прямо противоположное такому облегчению: я вдыхал исходивший от лестницы запах лака, а вдыхание куда более ядовито, чем проникновение через мозг, и оттого грусть при мысли, что мне надо подниматься по лестнице, овладевала мной неизмеримо быстрее, почти мгновенно, коварно и вместе с тем

стремительно. Придя к себе, я должен был наглухо запереться, закрыть ставни, вырыть себе могилу, откинув одеяла, и надеть саван в виде ночной рубашки. Однако, прежде чем похоронить себя в железной кровати, которую внесли ко мне в комнату, потому что летом мне было очень жарко под репсовым пологом, завешивавшим другую, большую кровать, я выказал своеволие, я прибег к уловке осужденного. Я написал маме записку, умоляя ее подняться ко мне по важному делу, о котором я мог сообщить ей только устно. Я боялся, что кухарка моей двоюродной бабушки Франсуаза, которой велено было смотреть за мною в Комбре, откажется передать записку. Меня мучило опасение, что просьба передать моей матери записку при гостях покажется ей столь же невыполнимой, как для капельдинера вручить актеру письмо на сцене. Относительно того, что можно и чего нельзя, у Франсуазы был свой собственный свод законов, строгий, обширный, хитроумный и неумолимый, с непостижимыми и ненужными разграничениями (что придавало ему сходство с древними законами, которые были настолько свирепы, что предписывали убивать грудных младенцев и в то же время обнаруживали чрезмерную щепетильность, воспрещая варить козленка в молоке его матери или же употреблять в пищу седалищный нерв животного). Если судить о своде законов Франсуазы по внезапному упрямству, с каким она отказывалась выполнять некоторые наши поручения, то невольно приходишь к выводу, что предусматриваемая этим сводом сложность общественных отношений и светские тонкости не могли быть подсказаны Франсуазе ее средой и образом жизни деревенской служанки; очевидно, в ней жила глубокая французская старина, благородная и недоступная пониманию окружающих, – так в промышленных городах старинное здание свидетельствует о том, что прежде это был дворец: рабочих химического завода окружают изящные скульптуры, изображающие чудо, происшедшее со святым Теофилом, и четырех сыновей Эмона. У меня могла быть слабая надежда, что в данном случае Франсуаза нарушит статью своего кодекса, по которой она имела право беспокоить маму в присутствии г-на Свана из-за такой ничтожной личности, как я, лишь в случае пожара, а между тем этой статьей Франсуаза выражала свое почтение не только к моим родным – так чтут покойников, духовных особ и монархов, – но и к постороннему, которого зовут в гости, и это ее почтение, быть может, тронуло бы меня, прочти я о нем в книге, но оно меня раздражало, когда его изъявляла Франсуаза, раздражал ее торжественный и умильный тон, особенно торжественный в тот вечер, ибо трапеза была в ее глазах священна, в силу чего она не осмелилась бы нарушить ее церемониал. И вот, стремясь повысить шансы на успех, я не остановился перед тем, чтобы солгать: я сказал, что написал маме отнюдь не по собственному желанию, – это мама, когда мы с ней прощались, велела мне не забыть ответить по поводу одной вещи, которую она просила меня поискать, и если ей не передать моей записки, то она,

конечно, очень рассердится. Я думаю, что Франсуаза мне не поверила: подобно первобытным людям, у которых чувства были острее, чем у нас, она по каким-то непостижимым для нас признакам мгновенно угадывала правду, которую мы пытались от нее скрыть; она в течение пяти минут рассматривала конверт, как будто исследование бумаги и почерка могло дать ей представление о содержании записки и подсказать, какую статью здесь требуется применить. Затем она ушла с покорным видом, казалось, говорившим: «Какое несчастье для родителей иметь такого ребенка!» Вернулась она сейчас же и сказала, что еще кушают мороженое и буфетчик не может на виду у всех передать записку, но что когда будут полоскать рот, он как-нибудь ухитрится передать ее маме. Я сразу успокоился; мое положение улучшилось по сравнению с тем, в каком я находился только что, расставаясь с мамой до завтра: моя записочка, конечно, рассердит маму (особенно потому, что хитрость моя выставит меня в смешном виде перед Сваном), но она введет меня, невидимого и ликующего, в ту комнату, где сидит мама, она шепнет маме обо мне, благодаря чему запретная, враждебная мне столовая, где даже мороженое – «гранитная глыба» – и стаканы для полоскания рта таили, как мне казалось еще за секунду до возвращения Франсуазы, пагубные и смертельно скучные удовольствия, раз мама получает их вдали от меня, – эта столовая будет теперь для меня открыта и, как спелый плод, разрывающий кожуру, вот-вот брызнет и доплеснет до моего исстрадавшегося сердца внимание мамы в то время, когда она будет читать мои строки. Теперь я уже не был от нее отгорожен; преграды рухнули, нас вновь связала чудесная нить. И это еще не все: мама, несомненно, ко мне придет!

Мне представлялось, что если бы Сван прочел мою записку и догадался, какова ее цель, то моя тоска показалась бы ему смешной; между тем впоследствии мне стало известно, что та же самая тоска мучила его много лет, и, пожалуй, никто бы меня так не понял, как он; ее, эту тоску, нападающую, когда любимое существо веселится там, где тебя нет, где тебе нельзя быть с ним, вызывала в нем любовь, для которой эта тоска, в сущности, как бы и создана, которая непременно ее себе присвоит и для себя приспособит; если же, как это было со мной, тоска найдет на нас до того, как в нашей жизни появится любовь, то, в ожидании любви, она, смутная и вольная, не имея определенного назначения и перелетая от чувства к чувству, нынче служит сыновней привязанности, завтра – дружбе с товарищем. Более того: Сван познал и радость, какую принес мне первый мой опыт, когда Франсуаза пришла сказать мне, что записку передадут, – ту обманчивую радость, которую доставляет нам наш друг или родственник любимой женщины, когда, направляясь к дому или к театру, где он должен встретиться с ней на балу, на празднестве, на премьере, он замечает, что мы слоняемся у подъезда, напрасно надеясь, что случай нас с нею сведет.

Он узнает нас, непринужденно подходит, спрашивает, что мы здесь делаем. Мы придумываем, что его родственница или приятельница нам нужна по срочному делу; он уверяет, что устроить с нею свидание проще простого, приглашает войти в вестибюль и обещает прислать ее к нам через пять минут. Как мы благословляем его, вот так же я благословлял сейчас Франсуазу, доброжелательного этого посредника, одно слово которого сделало для нас приемлемым, человечным и даже почти приятным загадочное, бесовское торжество, во время которого, как нам только что представлялось, враждебные вихри, порочные и упоительные, уносят от нас, да еще заставляют издеваться над нами, ту, кого мы так любим! Если судить по этому подошедшему к нам родственнику, посвященному в жестокие таинства, то и в других приглашениях на праздник тоже нет ничего демонического.

И вот мы проникаем в недоступный и мучительный для нас мир вкушаемых ею и неведомых нам наслаждений, как во внезапно открывшийся перед нами пролом; и вот мы уже представляем себе, мы обладаем, мы приобщаемся, мы почти что сами и создаем одно из мгновений, из которых состоит это веселье, – мгновенье не менее реальное, чем все остальные, может быть, даже наиболее важное для нас, потому что наша возлюбленная с ним особенно связана: это то самое мгновенье, когда ей скажут, что мы там, внизу. И, понятно, последующие мгновенья празднества, в сущности, не должны так уж отличаться от этого, не могут быть чудеснее, чем это, и не могут вызвать у нас такую душевную боль, раз благожелательный друг объявил: «Да она с радостью спустится к вам! Ей будет гораздо приятнее говорить с вами, чем скучать наверху». Увы! Сван знал по опыту, что благие намерения третьего лица не имеют власти над женщиной, раздраженной тем, что человек, которого она не любит, преследует ее даже на балу. Друг часто спускается к нам один.

Мама не пришла и, не щадя моего самолюбия (заинтересованного в том, чтобы выдумка насчет поисков, о результате которых она якобы просила меня сообщить ей, не была разоблачена), велела Франсуазе передать мне: «Ответа не будет», – слова, которые потом так часто говорили при мне бедным девушкам швейцары в «шикарных» гостиницах или лакеи в игорных домах. «Как! Он ничего не сказал? – переспрашивали те в изумлении. – Не может быть! Ведь вы же ему передали мое письмо. Ну, хорошо, я подожду». И, уподобясь одной из таких девушек, неизменно уверяющей швейцара, что дополнительный газовый рожок, который тот хочет зажечь для нее, ей не нужен, остающейся ждать и слышащей лишь, как швейцар и посыльный время от времени переговариваются о погоде и как швейцар, вдруг заметив, что указанный одним из постояльцев срок наступил, велит посыльному поставить напиток в ведро со льдом, – я,

отвергнув предложение Франсуазы сделать мне настойку и побыть со мной, отослал ее в буфетную, а сам лег и закрыл глаза, стараясь не прислушиваться к голосам родных, пивших в саду кофе. Но через несколько секунд я почувствовал, что, написав записку маме, я, рискуя рассердить ее, настолько приблизился к ней, что как будто бы осязаю миг ее появления и тем лишаю себя возможности заснуть, не увидевшись с ней, и сердце мое с каждым мгновением билось все сильнее, потому что, уговаривая себя успокоиться и покориться моей горькой участи, я только усиливал свое возбуждение. Вдруг тоска прошла и сменилась блаженством, как будто начало действовать сильное болеутоляющее средство: я решил даже не пытаться заснуть, не повидавшись с мамой, и во что бы то ни стало поцеловать ее, когда она будет подниматься к себе в спальню, хотя бы она долго после этого на меня сердилась. Конец мукам, ожидание, жажда и боязнь опасности – все это наполнило мою душу необыкновенным восторгом. Я бесшумно отворил окно и сел у изножья кровати; чтобы меня не услышали внизу, я сидел почти неподвижно. За окном все предметы тоже как бы застыли в напряженном молчании, боясь потревожить лунный свет, а свет, растягивая перед каждым предметом его тень, более плотную и определенную, чем сам предмет, увеличивал его вдвое и отодвигал, а весь вид в целом утончал и в то же время разворачивал, как разворачивают свернутый чертеж. Что испытывало потребность в движении, – например, листва каштана, – то шевелилось. Но всю ее охвативший трепет, тщательно отшлифованный, с соблюдением малейших оттенков, доведенный до возможной степени совершенства, не добрызгивался до окружающего, не сливался с ним, оставался обособленным. Дальние звуки, выделявшиеся на фоне тишины, которая их не поглощала, и долетавшие, по всей вероятности, из садов, раскинувшихся на другом конце городка, воспринимались до такой степени «отделанными» в каждом своем полутоне, что казалось, будто впечатление дальности зависит только от их пианиссимо, вроде тех мотивов, которые так мастерски исполняет под сурдинку оркестр консерватории: ни одна нота не пропадет, а у слушателей создается впечатление, что они звучат где-то далеко от концертного зала, и старые абоненты, – в частности, бабушкины сестры, когда Сван уступал им свои места, – наставляли уши, словно прислушиваясь к далеким шагам марширующих солдат, еще не свернувших на улицу Тревизы.

Зная моих родителей, я отдавал себе отчет, что моя затея может иметь для меня самые тяжкие последствия, куда более тяжелые, чем мог бы ожидать человек посторонний, – такие, которые, по его понятиям, могло бы повлечь за собой только что-нибудь действительно скверное. При том воспитании, которое я получал, степень важности проступков определялась по-иному, чем у других детей: меня приучали зачислять в разряд самых больших провинностей

(наверное, потому, что меня надо было особенно тщательно оберегать от них) те, которые, как это мне стало ясно только теперь, мы обыкновенно совершаем под влиянием нервного возбуждения. Но тогда это выражение при мне не употреблялось, мне не указывали на происхождение подобного рода проступков, а то я мог бы сделать вывод, что это простительно или что справиться с этим мне не по силам. Однако я легко отличал эти проступки по тоске, которая им предшествовала, и по строгости следовавшего за ними наказания; и сейчас я сознавал, что проступок, который я совершил, принадлежит к разряду тех, за которые меня постигала суровая кара, но только гораздо более важный. Если я выйду навстречу матери, когда она будет подниматься к себе в спальню, и она увидит, что я встал, чтобы еще раз пожелать ей спокойной ночи в коридоре, меня больше дома не оставят, меня завтра же отправят в коллеж – я был в этом уверен. Ну что ж! Если бы даже я должен был через пять минут выброситься в окно, меня бы и это не удержало. У меня было одно желание: увидеть маму, пожелать ей спокойной ночи, я слишком далеко зашел в этом своем стремлении – отступить было поздно.

Я услышал шаги моих родных, провожавших Свана. И едва колокольчик у калитки дал мне знать, что Сван ушел, я пробрался к окну. Мама спрашивала отца, хорош ли был лангуст и просил ли Сван подложить ему кофейного и фисташкового мороженого. «Мне оно не очень понравилось, – заметила мать. – В следующий раз надо будет сделать какое-нибудь другое». – «А как изменился Сван! – воскликнула моя двоюродная бабушка. – Он совсем старик!» Сван ей все казался юнцом, и вдруг она с удивлением обнаружила, что он далеко не так молод. Впрочем, все мои родные отмечали ненормальную, раннюю, постыдную старость Свана и считали, что он ее заслужил, как все холостяки, для которых длинное «сегодня», не имеющее своего «завтра», тянется дольше, чем для других, потому что у них оно ничем не заполнено, мгновения с утра присчитываются одно к другому, не распределяясь между детьми. «Наверно, ему много крови испортила его мерзавка жена: ведь она на глазах у всего Комбре живет с каким-то Шарлю. Это притча во языцах». Мать возразила, что за последнее время Сван явно повеселел: «И теперь он не так часто протирает глаза и проводит рукой по лбу – это был характерный жест его отца. Мне думается, он разлюбил жену». – «Конечно, разлюбил, – подхватил дедушка. – Я уже давно получил от него письмо по этому поводу – тогда я не придавал ему особого значения, но оно не оставляет никаких сомнений относительно его чувств к жене, во всяком случае – его любви к ней. Да, ну, а почему же вы все-таки не поблагодарили его за асти?» – обратился дедушка к свояченицам. «Как так не поблагодарили? Если уж на то пошло, я, по-моему, сделала это достаточно тонко», – возразила бабушка Флора. «Да, у тебя это очень хорошо

вышло: я тобой восхищалась», – заметила бабушка Селина. «Ты тоже не сплеховала». – «Да, я горжусь своей фразой насчет любезных соседей». – «То есть как? Это вы называете поблагодарить? – вскричал дедушка. – Я все прекрасно слышал, но разрази меня господь, если я сообразил, что это относилось к Свану. Можете быть уверены, что он ничего не понял». – «Ну уж нет, Сван не так глуп, я убеждена, что он догадался. Не могла же я сказать, сколько бутылок и почему они!»»

Оставшись вдвоем, отец и мать посидели немного, потом отец сказал: «Ну что ж, если хочешь – пойдем спать». – «Это если ты хочешь, мой друг, – у меня сна ни в одном глазу нет; впрочем, я не думаю, чтобы безвредное кофейное мороженое так меня возбудило. А в буфетной горит свет; ну, раз милая Франсуаза все равно меня ждет, я попрошу ее, пока ты будешь раздеваться, расстегнуть мне корсаж». И тут мама отворила решетчатую дверь из передней на лестницу. Вскоре я услышал, как она поднимается, чтобы закрыть у себя в комнате окно. Я проскользнул в коридор; сердце мое билось так сильно, что я еле шел, но теперь оно билось уже не от тоски, а от радости и от страха. Я увидел мамину свечу, освещавшую лестничную клетку. Потом я увидел маму; я бросился к ней. В первую секунду она, не поняв, в чем дело, посмотрела на меня с изумлением. Затем на ее лице изобразился гнев; она не сказала мне ни единого слова; впрочем, со мной не разговаривали по нескольку дней из-за сущей безделицы. Если бы мама сказала мне хотя бы одно слово, то это означало бы, что со мной можно говорить, и, пожалуй, это было бы для меня еще страшнее: я бы вообразил, что, в сравнении с ожидающим меня грозным возмездием, молчание, разрыв – пустяки. Слово было бы равнозначно спокойному тону, каким говорят со слугой, которого решено рассчитать, или поцелую, который дарят сыну, призванному на военную службу, и которого при других обстоятельствах ему бы не дали, так как был уговор наложить на него двухдневную опалу. Но тут мама услышала шаги отца, вышедшего из туалетной, где он раздевался, и, чтобы избежать сцены, которую он устроил бы мне, прерывающимся от возмущения голосом сказала: «Беги! Беги! Не хватает еще, чтобы отец увидел, что ты тут торчишь, как дурак!» – «Приходи со мной попрощаться», – лепетал я, страшась отблеска отцовской свечи, крадшегося вверх по стене, и в то же время пользуясь его приближением как средством шантажа в надежде, что мама, боясь, как бы отец не застал меня здесь, если она будет упорствовать, скажет: «Иди к себе в комнату, я сейчас приду». Но было поздно: перед нами стоял отец. У меня невольно вырвалось – впрочем, так тихо, что никто моих слов не расслышал: «Я погиб!»»

Однако этого не произошло. Отец постоянно отменял мои льготы, предусмотренные более широкими установлениями, принятыми моей матерью и бабушкой: он не обращал внимания на «принципы» и не считался с «правами человека». По совершенно случайной причине, а то и вовсе без всякой причины, он в последнюю минуту лишил меня прогулки, настолько привычной, настолько освященной обычаем, что это уже было с его стороны настоящим клятвopреступлением, или, как сегодня вечером, задолго до условленного часа объявлял: «Иди спать, без всяких разговоров!» Но поскольку принципов у него не было (в том смысле, как их понимала бабушка), то в нетерпимости его, собственно говоря, тоже нельзя было упрекнуть. Он посмотрел на меня удивленно и сердито, но когда мама, запинаясь, вкратце объяснила ему, в чем дело, он сказал: «Ну так пойдй к нему – ведь ты же сама сказала, что тебе не хочется спать, побудь с ним немного, мне ничего не нужно». – «Но, друг мой, – робко возразила мать, – хочу я спать или не хочу – это нисколько не меняет дела, нельзя приучать ребенка...» – «Да никто и не приучает, – пожав плечами, заметил отец. – Ты же видишь: мальчик расстроен, вид у него удрученный, – что мы с тобой, палачи, что ли? А если он из-за тебя сляжет, что тогда? У него в комнате две кровати, – скажи Франсуазе, чтобы она приготовила тебе большую кровать, поспи у него. Ну, спокойной ночи! Я не такой нервный, как вы, – усну и один».

Отца нельзя было благодарить: его раздражало то, что он называл «сентиментами». Я замер на месте; он все еще стоял перед нами, высокий, в белом ночном халате и в платке из индусского кашемира в лиловую и розовую клетку, которым он повязывал голову с тех пор, как у него появились невралгические боли, и поза у него была как у повелевающего Сарре проститься с Исааком Авраама на подаренной мне Сваном гравюре фрески Беноццо Гоццоли.

Этот вечер давно отошел в прошлое. Стены, на которой я увидел поднимающийся отблеск свечи, давно уже не существует. Во мне самом тоже разрушено многое из того, что тогда мне представлялось навеки нерушимым, и много нового воздвиглось, от чего проистекли новые горести и новые радости, которые я тогда еще не мог предвидеть, так же как прежние мне трудно понять теперь. Давно уже и отец мой перестал говорить маме: «Пойди с малышом». Такие мгновенья для меня больше не повторятся. Но с некоторых пор, стоит мне напрячь слух, я отлично улавливаю рыдания, которые я нашел в себе силы сдержать при отце и которыми я разразился, как только остался вдвоем с мамой. В сущности, рыдания никогда и не затихали, и если теперь я слышу их вновь, то лишь потому, что жизнь вокруг меня становится все безмолвнее – так

монастырские колокола настолько заглушает дневной уличный шум, что кажется, будто они умолкли, но в вечеровой тишине они снова звонят.

Мама провела эту ночь у меня в комнате; я ждал, что за мою провинность меня выгонят из дому, а вместо этого родители облагодетельствовали меня так, как не награждали ни за один хороший поступок. Даже сейчас, когда мне была оказана такая милость, в отношении отца ко мне сказалось нечто незаконное, мною не заслуженное, что было вообще характерно для его отношения ко мне и что объяснялось не столько заранее обдуманскими намерениями, сколько случайными его настроениями. Может быть, даже то, что он отсылал меня спать, в меньшей мере заслуживает названия строгости, чем строгость матери или бабушки, потому что кое в чем его натура резче отличалась от моей, чем их натура, и он, вероятно, до сих пор не догадывался, как я был несчастен все вечера, а между тем и моя мать, и бабушка прекрасно это знали, но они так меня любили, что не в силах были избавиться от душевной боли: им хотелось приучить меня пересиливать ее, чтобы уменьшить мою нервозность и закалить мою волю. Отец любил меня по-другому, – вот почему я затрудняюсь сказать, хватило ли бы у него на это мужества; единственный раз, когда он понял, что мне тяжело, он сказал матери: «Успокой его». Мама осталась на эту ночь у меня и, как видно, не желая портить ни одним упреком те часы, от которых я вправе был ждать чего-то иного, на вопрос Франсуазы, понявшей, что происходит что-то необыкновенное (мама сидит рядом со мной, держит меня за руку и, не пробирая меня, дает мне выплакаться): «Сударыня! Чего это мальчик так плачет?» – ответила: «Он сам не знает, Франсуаза, он просто разнервничался; постелите мне скорее на большой кровати и идите спать». Итак, впервые моя грусть рассматривалась не как заслуживающий наказания проступок, но как не зависящая от меня болезнь, признаваемая официально, как нервное состояние, за которое я не несу ответственности; я испытывал облегчение от того, что мне не надо было стыдиться моих горячих слез, я сознавал, что это не грех. Помимо всего прочего, я очень гордился перед Франсуазой таким оборотом событий: ведь через час после того, как мама отказалась прийти ко мне и с высоты своего величия велела передать, чтобы я спал, я был возведен в сан взрослого, моя грусть была неожиданно воспринята как знак некоторой возмужалости, я был теперь волен плакать. Я должен был бы быть счастливым, но счастливым я себя не чувствовал. У меня было такое ощущение, что эта первая уступка моей мамы для нее мучительна, что это ее первый отказ от идеала, который она создала для меня, и что первый раз в жизни она, невзирая на свою храбрость, признала себя побежденной. У меня было такое ощущение, что если я и одержал победу, то именно над ней, что моя победа равносильна победе болезни, скорбей или возраста, что она ослабляла ее волю, обессиливала ее разум и что нынешний

вечер, открывавший новую эру, навсегда останется в ее памяти как печальная дата. Если б у меня хватило смелости, я бы сказал маме: «Нет, я не хочу, не ложись в моей комнате». Но мне был известен ее практический, реалистический, как сказали бы теперь, ум, уравновешивавший в ней пылко-идеалистическую натуру бабушки; я знал, что теперь, когда ошибка допущена, мама, во всяком случае, предпочтет дать мне возможность насладиться блаженством покоя и не станет докучать отцу. Конечно, красивое лицо моей матери еще блистало молодостью в тот вечер, когда она так ласково гладила мои руки и старалась унять мои слезы; мне же казалось, что этого-то и не должно быть, ее гнев был бы для меня менее тягостен, чем эта необычайная нежность, которой мое детство не знало; мне казалось, что святотатственной и украдчивой рукой я только что провел в ее душе первую морщину, что из-за меня у нее появился первый седой волос. При этой мысли я зарыдал еще неутешнее, и тут мне бросилось в глаза, что мама, никогда не позволявшая себе нежничать со мной, внезапно растрогалась и силится удержать слезы. Поняв, что я это заметил, она сказала со смехом: «Ах ты мое золотце, ах ты мой чижик! Перестань сейчас же плакать, а то твоя мама наглупит, как ты. Послушай: раз мы оба спать не хотим, то не будем друг друга расстраивать, давай чем-нибудь займемся, что-нибудь почитаем». Книг у меня в комнате не было. «А что, если я принесу те книжки, которые бабушка хочет подарить тебе на день рождения, – это тебе удовольствия не испортит? Подумай: ты не будешь разочарован?» Напротив, я изъясил восторг; тогда мама принесла пачку книг, и сквозь бумагу, в которую они были завернуты, я мог только различить, что они разного формата, но даже при первом взгляде, поверхностном и беглом, я убедился, что они затмевают коробку с красками, которую я получил в подарок на Новый год, и шелковичных червей, которых мне подарили на день рождения в прошлом году. То были «Чертово болото», «Франсуа ле Шампи», «Маленькая Фадетта» и «Волынщики». Как выяснилось впоследствии, бабушка сперва выбрала для меня стихи Мюссе, том Руссо и «Индиану»: держась того мнения, что легкое чтение столь же нездорово, как конфеты и пирожное, она склонна была думать, что мощное дыхание гения оказывает на душу ребенка не более опасное и не менее животворное влияние, чем влияние свежего воздуха и морского ветра, оказываемое на его тело. Но когда отец узнал, что она собирается мне подарить, он сказал, что это безумие, тогда она, чтобы я не остался без подарка, пошла в Жуи-ле-Виконт к книгопродавцу (день был жаркий, и она вернулась в таком изнеможении, что доктор предупредил мать, что бабушке нельзя так переутомляться) и сменяла те книги на четыре сельских романа Жорж Санд. «Доченька! – сказала она моей матери. – Я бы никогда не дала в руки твоему ребенку вредных книг».

В самом деле: она никогда не покупала ничего такого, из чего нельзя было бы извлечь пищи для ума, особенно такой пищи, которую нам доставляет что-либо прекрасное, учащее нас находить наслаждение не в достижении житейского благополучия и не в утолении тщеславия, а в чем-то другом. Даже когда бабушка старалась сделать кому-нибудь так называемый «полезный» подарок – кресло, сервиз, тросточку, – она непременно выбирала «старинные» вещи, словно то обстоятельство, что они долгое время не служили людям, стерло с них налет полезности и они годны не столько для того, чтобы удовлетворять потребности нашего быта, сколько для того, чтобы рассказывать о быте людей былых времен. Ей хотелось, чтобы у меня висели снимки архитектурных памятников и красивых видов. Но если даже то, что было снято на купленной ею фотографии, представляло художественную ценность, бабушке казалось, что фотография, этот механический способ воспроизведения, мгновенно придает воспроизводимому оттенок пошлости и утилитарности. Она пускалась на хитрости и стремилась если и не совсем изгнать торгашескую банальность, то, по крайней мере, ограничить ее, заменить ее по возможности искусством, «прослоить» ее искусством: она спрашивала Свана, не писал ли какой-нибудь крупный художник Шартрский собор, большие фонтаны Сен-Клу, Везувий, и вместо фотографий предпочитала дарить мне репродукции «Шартрского собора» Коро, «Больших фонтанов Сен-Клу» Гюбера Робера, «Везувия» Тернера, – это была уже более высокая ступень искусства. Но если тут фотограф был устранен от воссоздания произведений искусства или природы и заменен крупным художником, зато он предъявлял свои права на воспроизведение и истолкования. Потеснив пошлость, бабушка добивалась того, чтобы она отступила еще дальше. Бабушка спрашивала Свана, нет ли гравюр того или иного произведения, и по возможности предпочитала приобретать гравюры старинные, представляющие интерес не только сами по себе, – такие, которые воссоздают произведения искусства в том виде, в каком оно теперь уже для нас недоступно (например, гравюра Моргена, сделанная с «Тайной вечери» Леонардо до того, как «Вечеря» была испорчена). Надо заметить, что бабушкино искусство делать подарки не всегда приводило к блестящим результатам. Представление, которое я создал себе о Венеции по рисунку Тициана, фоном коего, как полагают, является лагуна, было, разумеется, гораздо менее верным, чем то, какое могли бы мне дать обыкновенные фотографии. Когда моя двоюродная бабушка принималась за составление против бабушки обвинительного акта, то, силясь вспомнить, сколько бабушка подарила молодоженам или старым супругам кресел, ломавшихся при первой попытке на них сесть, она сбивалась со счета. Подвергнуть испытанию прочность мебели, на которой еще можно было различить цветочек, улыбку, очаровательный вымысел былых времен, – это показалось бы моей бабушке чересчур мелочным. Ее

прельщало даже то, что в даримых ею вещах было удобно, потому что пользоваться этим удобством можно было непривычным уже для нас способом – так в старинных оборотах речи нас пленяет метафора, стершаяся в нашем современном языке от частого употребления. Сельские романы Жорж Санд, которые бабушка собиралась подарить мне на день рождения, напоминают старинную мебель: они полны выражений, вышедших из употребления и вновь обретших первоначальную свою образность, которой они еще не утратили в деревне. И бабушка остановила свой выбор на них, как она предпочла бы снять дом с готической голубятней или еще с какими-нибудь старинными сооружениями, благотворно влияющими на человеческую душу, наполняя ее тоской по неосуществленным путешествиям во времени.

Мама села у моей кровати; она взяла книгу «Франсуа ле Шампи», которой коричневый переплет и непонятное заглавие придавали в моих глазах черты резкого своеобразия и таинственную прелесть. Я слышал, что Жорж Санд – образцовая романистка. Уже это одно заставляло меня думать, что во «Франсуа ле Шампи» есть что-то невыразимо прекрасное. От всякого более или менее тонкого читателя не укрылось бы, что повествовательные приемы Жорж Санд, рассчитанные на то, чтобы возбудить любопытство или же растрогать, обороты речи, тревожащие или навевающие грусть, переключаются у нее из романа в роман; я же рассматривал каждую новую книгу не как одну из многих, но как своеобразную личность, в самой себе замкнутую, – вот почему мне эти приемы и обороты представлялись волнующим излучением особой сущности «Франсуа ле Шампи». Под будничными событиями, под прописными истинами, под ходячими выражениями я улавливал необычную интонацию, необычное звучание. Действие началось; оно показалось мне тем более запутанным, что в ту пору я имел обыкновение глотать страницу за страницей, а думать о другом. К пробелам, вызванным моей рассеянностью, на этот раз прибавились другие: мама, читавшая мне вслух, пропускала все любовные сцены. Вот почему те странные изменения, которые происходят в отношениях между мельничихой и мальчиком и которые объясняются их все усиливающимся взаимным сердечным влечением, казались мне окутанными глубокой тайной, происхождение которой мне доставляло удовольствие искать в незнакомом и приятном для слуха имени Шампи, которое почему-то окрашивало в моем представлении мальчика в прелестный ярко-алый цвет. Вообще говоря, мама была ненадежная чтица, но если она обнаруживала в книге неподдельное чувство, то она становилась превосходной чтицей – так верен и прост был ее тон, так красив и мягок был звук ее голоса. Даже в жизни, когда не произведения искусства, а живые существа умиляли ее или восхищали, с какою трогательною чуткостью устраняла она из своего голоса, движений, речей оттенок жизнерадостности,

который мог причинить боль матери, давно потерявшей ребенка, или избегала разговоров о праздниках и годовщинах, если они могли напомнить старику о его почтенном возрасте, разговоров о хозяйстве, если они могли показаться скучными молодому ученому! Равным образом, читая Жорж Санд, от романов которой веет добротой и душевным здоровьем, – а бабушка внушила маме, что это самое важное в жизни, и мне лишь значительно позже удалось внушить маме, что в книгах это не самое важное, – мама следила за тем, чтобы ее чтение было совершенно свободно от сюсюканья и неестественности, которые могли бы испортить впечатление от мощного речевого потока, и в каждую фразу Жорж Санд, словно написанную для ее голоса и, если так можно выразиться, целиком вмещавшуюся в регистре ее отзывчивости, вкладывала всю свою врожденную мягкость, всю свою душевную щедрость. Чтобы верно произнести эти фразы, она находила в себе ту сердечность, которой они обязаны своим возникновением, которая их продиктовала, но которая не находит себе непосредственного выражения в словах; этой сердечностью мама одновременно умеряла грубость времен глаголов, сообщала прошедшему несовершенному и прошедшему совершенному ту мягкость, какая есть в доброте, ту грусть, какая есть в нежности, связывала фразы одну с другой, то ускоряя, то замедляя течение слогов вне зависимости от их количества, и придавала фразам ритмичность; ей удавалось вдохнуть в заурядную прозу некое подобие непрекращающейся жизни чувств.

Совесть перестала меня мучить; мама была со мной, и я весь отдался во власть ласковой этой ночи. Я сознавал, что такая ночь повториться не может, что самое сильное мое желание – чтобы моя мать была со мной, пока тянутся тоскливые ночные часы, – вступает в непримиримое противоречие с жизненной необходимостью и с желаниями всех остальных членов семьи и что сегодня мне предоставлена возможность осуществить его только в виде особого одолжения и исключения. Завтра я опять затоскую, а мама уже со мной не останется. Но когда тоска проходила, я обыкновенно переставал понимать, отчего я тосковал; притом завтрашний вечер был еще далеко; я внушал себе, что у меня еще будет время что-нибудь придумать, хотя это время ничего не могло мне дать, ибо от меня ничто не зависело, – длительность промежутка лишь подогревала во мне надежду на то, что препятствия устранимы.

* * *

Так вот, на протяжении долгого времени, когда я просыпался по ночам и вновь и вновь вспоминал Комбре, передо мной на фоне полной темноты возникало нечто

вроде освещенного вертикального разреза – так вспышка бенгальского огня или электрический фонарь озаряют и выхватывают из мрака отдельные части здания, между тем как все остальное окутано тьмой: на довольно широком пространстве мне грезилась маленькая гостиная, столовая, начало темной аллеи, откуда появлялся Сван, невольный виновник моих огорчений, и передняя, где я делал несколько шагов к лестнице, по которой мне так горько было подниматься, – лестница представляла собой единственную и притом очень узкую поверхность неправильной пирамиды, а ее вершиной служила моя спальня со стеклянной дверью в коридорчик: в эту дверь ко мне входила мама; словом, то была видимая всегда в один и тот же час, отграниченная от всего окружающего, выступавшая из темноты неизменная декорация (вроде тех, которые воспроизводятся на первой странице старых пьес в изданиях, предназначенных для провинциальных театров), – декорация моего ухода спать, как если бы весь Комбре состоял из двух этажей одного-единственного дома, соединенных узкой лестничкой, и как если бы там всегда было семь часов вечера. Понятно, на вопрос, было ли еще что-нибудь в Комбре и показывали ли там часы другое время, я бы ответил утвердительно. Но это уже было бы напряжение памяти, это было бы мне подсказано рассудочной памятью, а так как ее сведения о прошлом не дают о нем представления, то у меня не было ни малейшей охоты думать об остальном Комбре. В сущности, он для меня умер.

Умер навсегда? Возможно.

Во всем этом много случайного, и последняя случайность – смерть – часто не дает нам дожидаться милостей, коими нас оделяет такая случайность, как память.

Я нахожу вполне правдоподобным кельтское верование, согласно которому души тех, кого мы утратили, становятся пленницами какой-либо низшей твари – животного, растения, неодушевленного предмета; расстаемся же мы с ними вплоть до дня – для многих так и не наступающего, – когда мы подходим к дереву или когда мы становимся обладателями предмета, служившего для них темницей. Вот тут-то они вздрагивают, вот тут-то они взывают к нам, и как только мы их узнаем, колдовство теряет свою силу. Мы выпускаем их на свободу, и теперь они, победив смерть, продолжают жить вместе с нами.

Так же обстоит и с нашим прошлым. Попытаться воскресить его – напрасный труд, все усилия нашего сознания тщетны. Прошлое находится вне пределов его досягаемости, в какой-нибудь вещи (в том ощущении, какое мы от нее

получаем), там, где мы меньше всего ожидали его обнаружить. Найдем ли мы эту вещь при жизни или так и не найдем – это чистая случайность.

Уже много лет для меня ничего не существовало в Комбре, кроме подмошков и самой драмы моего отхода ко сну, но вот в один из зимних дней, когда я пришел домой, мать, заметив, что я прозяб, предложила мне чаю, хотя обычно я его не пил. Я было отказался, но потом, сам не знаю почему, передумал. Мама велела принести одно из тех круглых, пышных бисквитных пирожных, формой для которых как будто бы служат желобчатые раковины пластинчатожаберных моллюсков. Удрученный мрачным сегодняшним днем и ожиданием безотрадного завтрашнего, я машинально поднес ко рту ложечку чаю с кусочком бисквита. Но как только чай с размоченными в нем крошками пирожного коснулся моего нёба, я вздрогнул: во мне произошло что-то необыкновенное. На меня внезапно нахлынул беспричинный восторг. Я, как влюбленный, сразу стал равнодушен к превратностям судьбы, к безобидным ее ударам, к радужной быстролетности жизни, я наполнился каким-то драгоценным веществом; вернее, это вещество было не во мне – я сам был этим веществом. Я перестал чувствовать себя человеком посредственным, незаметным, смертным. Откуда ко мне пришла всемогущая эта радость? Я ощущал связь меж нею и вкусом чая с пирожным, но она была бесконечно выше этого удовольствия, она была иного происхождения. Так откуда же она ко мне пришла? Что она означает? Как ее удержать? Я пью еще одну ложку, но она ничего не прибавляет к тому, что мне доставила первая; третья действует чуть-чуть слабее второй. Надо остановиться, сила напитка уже не та. Ясно, что искомая мною истина не в нем, а во мне. Он ее пробудил, но ему самому она неизвестна, он способен лишь без конца повторять ее, все невнятной и невнятной, а я, сознавая свое бессилие истолковать выявление этой истины, хочу, по крайней мере, еще и еще раз обратиться к нему с вопросом, хочу, чтобы действие его не ослабевало, чтобы он немедленно пришел мне на помощь и окончательно все разъяснил. Я оставляю чашку и обращаюсь к своему разуму. Найти истину должен он. Но как? Тягостная нерешительность сковывает его всякий раз, как он чувствует, что взял верх над самим собой; ведь это же он, искатель, и есть та темная область, в которой ему надлежит искать и где все его снаряжение не принесет ему ни малейшей пользы. Искать? Нет, не только – творить! Он стоит лицом к лицу с чем-то таким, чего еще не существует и что никто, как он, способен осмыслить, а потом озарить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купити: <https://tn.knigapoisk.com/marsel-prust/po-napravleniyu-k-svanu-kupit>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)